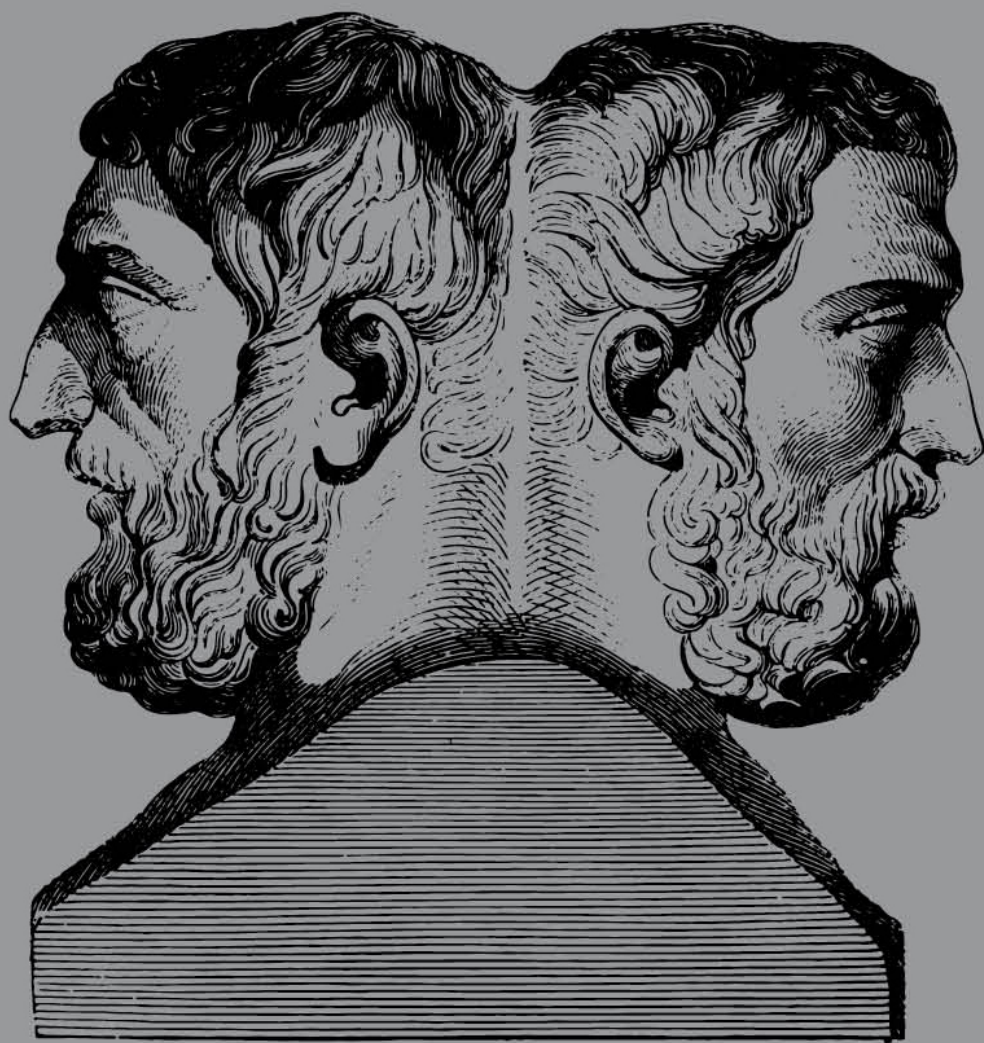


ИГОРЬ
ГУБЕРМАН



**ДЕСЯТЫЙ
ДНЕВНИК**

Содержит
цензурную
брань! 18+

Проза и Гарики

Игорь Губерман
Десятый дневник

«ЭКСМО»

2018

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Губерман И. М.

Десятый дневник / И. М. Губерман — «Эксмо», 2018 — (Проза и Гарики)

ISBN 978-5-04-097486-3

«Вот я и дожил до восьмидесяти лет. Раньше никогда бы не подумал», — пишет Игорь Губерман. Его новая книга «Десятый дневник» — собрание забавных историй, интереснейших воспоминаний и мудрых рассуждений о природе человека, грехах и добродетелях, жизни и смерти... И, разумеется, в ней — гарики, любимые читателями, а также совсем новые. Эта книга станет помощником для каждого и в печали, и в радости.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-04-097486-3

© Губерман И. М., 2018
© Эксмо, 2018

Содержание

Заметки по случаю	6
Ещё одна несвязная глава	11
Страшная месть и нечаянная радость	14
Сага о нищем миллионере	18
А под каштанами – пещеры	21
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Игорь Губерман

Десятый дневник

© Губерман И., 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018

* * *

Заметки по случаю

Хорошо начинать книгу с какой-нибудь сильной цитаты, чтобы она послужила тонкой рекомендацией читать и дальше. Я воспользуюсь мудростью легендарного учителя музыки одессита Столярского. Правда, он это говорил о концертах, но сказанное им относится к любому виду сочинительства. А его одесский выворот русского языка придаёт цитате лишнюю весомость. И вот что он сказал: «Ходить надо как на хорошие, так и на плохие концерты, чтобы знать как положительных, так и отрицательных недостатков».

Тут я совсем некстати вспомнил ещё одну мудрость этого незаурядного человека. Он как-то сказал, что есть произведения, от которых «руки опускаются ниже всякой критики». Ну, я надеюсь, что такого не случится.

Никакой связности сюжета в этой главе заведомо не предвидится. Я хотел назвать её «заметками из разных мест», но вовремя осознал двусмысленность такого наименования. Просто есть у меня записи в блокнотах, и куда-то я хотел бы их пристроить. Связи между ними – ни малейшей.

Катались мы с женой на пароходе, и в столовой (надо б написать – «в кают-компании», куда красивше было бы) ко мне вдруг подошёл невидный мужичонка с удивительным вопросом-утверждением: «Вы – Александр Каневский?!» Я пожал плечами недоумённо – есть у нас такой писатель-юморист, но это не я. А вопрошатель (очень умный, очевидно, человек) мне пояснил: «Дело в том, что мы с ним – очень близкие приятели». Мне стало так смешно и хорошо, что подошедшей через полчаса старушке («Извините, вы не Игорь Губерман?») я искренне сказал, что нет, я – Дина Рубина. А день спустя ещё одна старушка мне сказала: «Я давно люблю ваши стихи, но я вашу фамилию не помню», и на этом моя слава исчерпалась.

А про вещий сон я напишу подробнее, ибо накануне выдался прекрасный вечер. Это очень редко на гастролях, чтобы вечером остаться в полном и блаженном одиночестве. Случилось это в Минске. Для начала я решил вкусно поужинать и побрёл в гостиничный ресторан (виски ждал меня в чемодане, так что дальше всё сложилось бы прекрасно). А тут пошло не очень. Ресторан был совершенно пуст, но меня официанты не заметили. Потом один всё-таки обнаружил меня и нехотя подошёл. Я пиво заказал и полцыплёнка табака.

Дальнейший час я не скучал и не томился ожиданием. Я думал почему-то о людях, которые попросятся завтра на концерт без билетов, ссылаясь на полное безденежье. Обычно это местная библиотечарша, которая по доброте душевной приведёт ещё с собой двух-трёх замшелых гуманитариев. И непременно после окончания они придут в гримёрку, чтобы выразить свою благодарность и попутно повестнуть о собственных изысканиях.

Один, очевидно, будет заниматься косвенными связями поэта Бальмонта (подставьте любое имя) с этим городом, где поэт однажды был проездом, а другой – еврейскими мотивами у поэта Хемницера, который, по всей видимости, ни одного еврея отродясь не видел. Это якобы нужно подрастающему поколению, которое давно уже ничего не читает, а благодаря телевизору вполне уверено, что маршал Жуков нанёс на Куликовом поле жуткое поражение танковым бригадам Золотой Орды, в честь чего и был основан город Курск.

Возможны и другие варианты. Хотеться будет рюмочку с устатку, но хотя бы можно будет покурить. В ресторане курить было строжайше запрещено. Суки поганые! И тут принесли цыплёнка. Он оказался курицей, настолько старой, что она уже ничуть не огорчалась, понимая, куда её тащат. Но края я с удовольствием объел. А после я поднялся в номер, выпил виски, покурив в раскрытое окно (все номера теперь в гостиницах некурящие) и уже ложился спать, когда мне позвонили – не желаю ли я получить массаж и отдохнуть с отменной девочкой. К сожалению, я этого давно уже не желал. А трубку положив, я вспомнил чьи-то дивные слова, что сердце – не единственный орган, которому не прикажешь.

И странный мне приснился сон. Меня как будто обокрали так искусно, что никто со мною даже рядом не был и никто не притрагивался ко мне. Будто я сидел в вагоне, мимо люди шли, и вдруг я обнаружил, что при мне нет денег, хотя только что я их в кармане ощущал.

Но как он сбывлся, этот сон! Меня действительно под вечер обокрали, и никто ко мне не приближался. Обокрали меня два импресарио из Могилёва (я туда в тот день приехал), очень симпатичные интеллигентные люди. Один даже бывший профессор консерватории, а второй – израильтянин, увлёкся прокатным бизнесом. Они просто не заплатили мне гонорар. Обещали завезти его в Москву – сестре жены, и вот уже прошло два года. А у них и офис есть весьма презентабельный, и две или три приветливые женщины там трудятся, афиши броские висят снаружи и внутри – кипит прокатная жизнь. А вот доверчивого фраера – обворовали. Я им звонил, выслушивал клятвенные заверения и всё надеялся. А гонорар обещан был немаленький, и зал собрался убедительный. Коллеги, не езжайте в Могилёв!

Ну, а теперь немного о прекрасном. В Москве (а может, в Питере) я получил записку, мной прочитанную только уже дома. Начиналась она так: «Игорь Миронович, я – представительница древнейшей профессии (что сейчас называется модным словом «эскорт»)). А дальше шли слова, приятные донельзя: «Не знаю, польстит ли Вам или опечалит, но очень часто, собираясь с девочками за бокалом вина, при обсуждении клиентов мы обмениваемся Вашими гариками. Они так ярко и лаконично характеризуют нашего «потребителя»: политиков, бизнесменов... Тем более что большинство из них – евреи».

Тут я ошеломлённо перестал читать и радостно задумался. Миф о поголовной умности нашего народа уже давно стал для меня смешной неправдой, но вот передо мной грамотное и весомое свидетельство ебливости моего народа – как тут было не призадуматься? Но дальше следовала в этой дивной записке поразительная (и снова приятная) бытовая история: «А однажды с одним клиентом мы поссорились, и я ему отправила Ваш гарик про «новый вариант гермафродита». А я этот стишок отлично помню, вот он:

*Время наше будет знаменито
тем, что сотворило пользы ради
новый вариант гермафродита:
плотью – мужики, а духом – бляди.*

Окончание записки было удивительно и благоуханно: «Утром он перечислил мне крупенькую сумму, сказав, что так изящно проститутка его ещё не ставила на место. Спасибо Вам!»

Таких записок дивных я ещё не получал, спасибо тебе, безымянная труженица сексуального фронта!

Снова обокрали меня уже в Германии. Тут был сюжет, близкий к тому обидному сну. После концерта во Франкфурте я на поезде ехал в Дюссельдорф, и в моей наплечной сумке лежал уже первый гонорар. Я кинул эту сумку на полку для чемоданов и занялся своим любимым делом – тупо глядел в окно. На остановке по вагону проходил какой-то человек, и я, естественно, в него не всматривался. Он так молниеносно сдёрнул мою сумку с верхней полки, что я слегка лишь покосился на незнакомца, прямо возле ног моих что-то подбиравшего с пола. Это он неторопливо перекладывал мою наплечную в свою огромную хозяйственную сумку. После чего выпрямился и пошёл на выход. Только после его ухода пассажиры с соседней скамьи принялись что-то нервно говорить на непонятном мне немецком языке и тыкать пальцами вверх. А тут и остановка уже кончилась. Я тоже посмотрел вверх и ничуть не удивился. В сумке моей были деньги, паспорт, ключ от машины (зачем я брал его с собой?), а главное –

там были тексты моего концерта, я свои стишки почти не помню наизусть. Вот это был настоящий кошмар: через три часа выступление. В состоянии отнюдь не лучшем я достал блокнот и принялся вспоминать стишки.

К Дюссельдорфу я почти восстановил первое отделение. Второе я лихорадочно набрасывал в антракте. После концерта какие-то люди подходили ко мне, чтобы сказать: вы сегодня были, Игорь, в каком-то невероятном вдохновении, мы любовались вами. Это они так истолковали мою нервозность, ибо, читая очередной стишок, я лихорадочно пытался вспомнить следующий. Но всё обошлось. А паспорт мне восстановили в Мюнхене, в израильском консульстве.

Однако же история продолжилась. Благородный воришка сумку мою куда-то подкинул, и она попала в полицию. А с полицией связался один дивный местный житель – я с ним даже не был раньше знаком. Так что месяца через два я получил её по почте. Всё было на месте, кроме гонорара. И тут я подумал словами очень старой еврейской молитвы: спасибо, Господи, что взял деньгами!

А в результате у меня осталось от этого путешествия по Германии одно лишь очень сильное впечатление: нет, я не об этой краже. В городе Кёльне у водителя, который возил меня по городу, был навигатор с голосом Ленина. Я каждый раз благодарно вздрагивал, слыша этот незабвенный картавый голос: «Повогачивайте напгаво, батенька, немедленно повогачивайте напгаво!»

Спустя полгода (уже в Америке это было) в каком-то городе подвели ко мне высокого немолодого человека с таким же, как у меня, слегка лошадиным лицом и седыми кудряшками на голове. «Это тот, о ком вы писали», – сказали мне, и я немедля догадался. Несколько лет назад я оказался под Филадельфией на очередном слёте клуба самодеятельной песни. Там мне рассказали, что на прошлом слёте по аллеям этого парка ходил некий средней молодости человек, говоривший встречаемым симпатичным девушкам простые слова: «Я – Игорь Губерман, и я хотел бы почитать вам свои стихи». Вот сукин сын, подумал я тогда с завистью и где-то написал об этом прохиндее. А теперь вот он стоял передо мной и даже спросил улыбочиво, не обижаюсь ли я. «Да я тебя готов обнять, как брата!» – искренне воскликнул я и тут же спросил, удачно ли это получалось. Он сочно пожевал губами и ответил с гордостью: «Изрядно часто». И я так обрадовался, словно это было со мной.

Мне это сразу же напомнило историю, как в Сан-Франциско (если верно помню) к моему коллеге Яну Левинзону подошёл какой-то пожилой еврей и сообщил интимным полушёпотом: – Послушайте, вам будет интересно. Дело в том, что это я пишу почти все стихи Губермана. Только знать об этом следует не каждому.

И Ян, большой артист, не засмеялся, обещав хранить в секрете это долгожданное известие.

О доме нашем в Иерусалиме (почти тридцать лет мы в нём живём с женой, а дети уже съехали) просто грех не рассказать. В нём восемь этажей (а мы – на пятом), ничем архитектурно он не замечателен. И эфиопы в нём живут, и люди глубоко религиозные, и несколько семей, подобных нашей, то есть светских. А событий выдающихся в нём было два: жители какой-то верхней квартиры завезли на крышу мешки с землёй и принялись разводить марихуану, а живущие внизу устроили в подвале казино. Мы с женой про то узнали, встретив как-то поздно вечером небольшую группу полицейских, провожавших двух наших соседей в наручниках.

Но это не главное, что я хотел повестнуть о нашем доме. Здесь я навсегда расстался с мифом о приверженности нашего народа к чистоте. Та куча мусора (порой огромная, её сметают раз в неделю), что лежит у лестницы к нашему подъезду – очевидное и грустное опровержение векового мифа. Здесь и картонные стаканчики из-под воды, и обрывки объявлений с соседней синагоги, и обёртки от бесчисленных магазинных сладостей, и множество другого

беспородного сора. Ибо невдалеке стоят на маленьком дворе две скамейки, а на них сидят местные жители, и ветер метёт отходы их жизнелюбия к нашему подъезду. И никого этот завал не беспокоит. Мы писали в разные инстанции, прикладывая фотоснимки этих куч – всё бесполезно. А количество религиозных соседей в нашем доме всё растёт и растёт, об этом приятно свидетельствует растущая толпа детских колясок в подъезде и скопище малышей, уже из колясок выросших. Я радуюсь, когда евреи размножаются, а большинство прежних обитателей нашего дома давно съехали в другие районы.

Дело в том, что некий неизвестный мне влиятельный раввин где-то сболтнул, что обладает неопровержимым знанием: Мессия, который скоро спустится на нашу землю (наконец-то!), начнёт обход Иерусалима именно из нашего района. И сюда немедля хлынуло нашествие желающих его увидеть первыми. К нам уже раз десять звонили и стучались молодые в чёрных шляпах: не хотим ли мы продать свою квартиру? Не хотим. Нам просто лень переезжать, уже года не те. А так как цены поднялись, то многих это соблазнило. Так вот всю эту вселившуюся молодёжь нисколько не волнует мусорный завал, через который они трижды в день (как минимум) легко переступают, спеша на молитву. Иегова ничего не заповедал им насчёт дворовой грязи. Нет, я не жалею ничуть, мне просто интересно и забавно.

Что-то я разнылся, кажется, а у меня была недавно в курортном городе Нетания одна весьма пощекотавшая мне самолюбие случайная встреча. Я вышел из гостиницы покурить и стоял на улице, разглядывая прохожих. Очень много сейчас в Нетании евреев из Франции, и французская речь звучит по всем улицам города. Возле меня остановился вдруг огромный ящик на колёсах (из него торчали ручки двух мётел и совков для уборки уличного сора), и коренастый загорелый дворник обратился ко мне по-русски: мол, не я ли тот самый, правильно назвав мою фамилию и имя. Я изумлённо подтвердил, что я тот самый, и дворник на прекрасном русском языке сердечно похвалил мои стихи и прозу. И руку с уважением пожал, спросив на это разрешения. А я стоял, ошеломлённый и растроганный, и дворник мне сказал:

– А я вот тоже: мету и пишу, пишу и мету, – после чего повёз свой ящик дальше, пожелав мне долгого здоровья.

Из бывших гуманитариев, наверно, им в Израиле приходится нелегко. Дай Бог тебе удачи, неизвестный сочинитель, пожелал я ему вслед – даже если ты графоман.

Другая история с почти таким же началом случилась у меня в Киеве. В большой аэропортовской курилке вдруг обратился ко мне симпатичный человек того же примерно возраста, что тот дворник – лет за пятьдесят с небольшим. Симпатичное лицо, седые волосы, очки и крохотная борода. Он сидел довольно далеко от меня, поэтому его громкий вопрос прозвучал на всю курилку:

– Извините, – спросил он, – это вы и есть тот самый знаменитый поэт?

Ну что ответишь на такое? Со скромностью, присущей мне, я утвердительно кивнул. И чуть пожал плечами: я, наверно.

– Минутку обождите, я хочу вам что-то подарить, – и человек, вскочив упруго, кинулся в зал ожидания. Я видел, как он рылся в оставленном походном рюкзаке. Вернулся он, протягивая мне маленькую модель ордена, запакованную в пластмассу, – эдакий военный сувенир.

– Я – Юрий Табах, – сказал он, – а это копия моего американского ордена. Можно я с вами сфотографируюсь?

Это имя ничего мне не сказало, а массовые фотосессии приключаются у меня после каждого выступления. Я его молча обнял, он нас щёлкнул своим продвинутым телефоном, мы пожали руки друг другу и разошлись.

Орден я рассмотрел уже в самолёте. Это была одна из самых высоких американских наград – орден «Легион доблести». А на обороте ордена – те самые имя и фамилия, которые мне были неизвестны. А домой вернувшись, я о Юрии Табахе уже только читал, горько себя

ругая, что так и не поговорил с этим уникальным капитаном первого ранга, командором американского флота, первым человеком из России, сделавшим фантастическую военную карьеру.

Четырнадцать лет ему было, когда в 76-м году родители привезли его из Москвы в Филадельфию. Главная причина, по которой они выбрали Америку, а не Израиль, заключалась в их упрямом нежелании, чтобы единственный сын служил в армии. Оба врача, они о той же профессии помышляли для сына. А он мечтал только об армии. Но будучи послушным еврейским мальчиком, он совместил оба вожеления: поступил одновременно в университет – на фармацевта и в военно-морское училище. А перед этим были типично эмигрантские тяготы – он ухаживал за лошадьми где-то на ферме и мыл посуду в ресторане. И отец его, кстати, сменил халат врача на фартук заводского уборщика.

Получив звание лейтенанта и флотского медика, Юрий ещё спустя несколько лет закончил парашютно-десантную школу. И понеслось! Он побывал во многих странах. Он воевал в спецназе – командиром войсковой разведки. Он был начальником антитеррористического штаба в Турции. И вырос до капитана первого ранга – это очень высоко в армейской иерархии Америки. А в годы российской перестройки (знание русского языка!) он был начальником военного штаба НАТО – уже в Москве. И помнит, как одному-единственному удивлялись в Москве его собеседники: неужели в Америке еврея могли взять в военное училище?

А сейчас он уже на пенсии (почти тридцать лет военной службы) и занят редкостным общественным делом: помогает в сегодняшней Украине обустройству раненых и травмированных войной солдат. «У нас такое было после Вьетнама и Кореи», – сказал он в одном из интервью. И это «у нас» меня задело и растрогало.

Вот с таким настоящим героем нашего времени я не успел поговорить. По чистому невежеству, заметьте.

Ещё одна несвязная глава

Среди множества недугов, присущих старости, медицинская наука упустила один важный и распространённый – очевидно, ей не показался он расстройством. Я говорю о страсти вспоминать и по возможности немедленно этим вспомненным делиться с кем-нибудь. Это может быть и внук, и собутыльник, и случайно встреченный знакомый. А уж читатель – жертва этого потока по определению. Есть у читателя возможность уклониться и страницы эти пропустить, но жалко: вдруг там что-то попадётся интересное. Я на это любопытство и надеюсь.

Очень хорошо помню день, когда я сокрушался о моральных качествах человечества. Это было 29 августа 79-го года. Я уже две недели содержался в камере предварительного заключения при милиции города Дмитрова. И никак не мог ещё понять, что происходит и чего от меня хотят. (Что это игры чекистов, понял я много позже.) Так вот, накануне этого дня я поздно вечером вернулся с допроса в камеру, и надзиратель (старшина солидного возраста) молча протянул мне газету. Там было сообщение о смерти Константина Симонова – поэта, очень почитаемого мной.

– Скажи мне, Губерман, почему хорошие люди мрут гораздо раньше, чем гавно? – очень дружески спросил меня надзиратель.

Я что-то ему буркнул невразумительное и зашёл в раскрытую дверь (точней – решётку) своей камеры. Но он к решётке подошёл, и завязался у нас долгий разговор. Нет-нет, не о поэзии покойного, а вообще о жизни. Я деталей разговора этого не помню, только очень мы друг к другу расположились. Я даже рассказал ему, что до сих пор не понимаю, почему арестован, он сочувственно головой покивал. И я к нему таким доверием проникся (в лагере потом мне объяснили, что такое часто с зэками бывает), что ему сказал:

– Послушай, старшина, вот у меня листок бумаги есть и карандаш, я написать жене хочу, чтобы она не волновалась. А секретов нет у меня никаких, сам прочтёшь, если захочешь. Положи его в конверт, я тебе адрес напишу отдельно. Сделаешь доброе дело?

Он улыбнулся и кивнул: мол, никакой проблемы нету, сделаю. И я ему через полчаса дал эту короткую записку. И безмерно благодарен был за его лёгкое согласие. А на утреннем допросе мне начальник городской милиции сказал:

– Зря вы пишете жене, что это просто недоразумение и скоро дома будете. Ещё только началось следствие, а вы сотрудников на преступление толкаете.

И со злорадством показал мне мой листок. Я ведь не знал ещё, что с моей тёщей уже виделся гэбист и её мягко предупредил, чтобы родные все держались тихо и не поднимали шума, я тогда отделаюсь лишь мелким сроком. Так что заведомо дурацкой была та моя записка, только жутко поразило меня само предательство, потому и помню его до сих пор. Уж больно дружеской была та поздняя беседа.

А на размышления о человечестве порой толкают удивительные случаи.

Доплыли как-то мы с женой на пароходе аж до Сицилии. И несколько часов стоянки провели мы в городе Катания. Дивной красоты весь город, и весьма на нём сказалась близость вулкана Этны. Смертоносная лава, которую извергал вулкан, остыла вскоре и превратилась в замечательный строительный материал. Из лавы строили дома, из лавы клали мостовую, а на центральной площади стоит на постаменте огромный чёрный слон – и целиком из лавы. А поделок-сувениров вообще не сосчитать. Покровительница города – святая Агата. В её честь великолепный храм воздвигнут. Жила эта Агата-великомученица в третьем веке нашей эры, красоты была необычайной, и её стал помогать всемогущий римский наместник. А получив решительный отказ, решил он покарать её как пламенную христианку. Бросили её в тюрьму,

пытали, раскалёнными щипцами оторвали грудь. Потом сожгли Агату на горящих углях, от Христа она не отказалась.

И теперь во многих городах Италии почитают её как мученицу во имя веры. Тут я и подошёл, наконец, к тому, что поразило меня в Катании. Во всех кондитерских, в кафе, куда я заходил, есть непременно пирожное: округлый холмик кремовый, а сверху – розовая вишенка. И называется это кондитерское изделие – «Грудь Агаты». Как вам нравится такая форма памяти о святой великомученице? Это к вопросу о человечестве, по-моему, прямо относится.

В копилке памяти моей хранится несколько историй, которые, предупредив о несвязности главы этой, я хочу изложить.

Лев Разгон, проведший в ГУЛАГе около семнадцати лет и, по счастью, уцелевший, в посветлевшие восьмидесятые годы много выступал, рассказывая о том, что видел. И однажды некая интеллигентная женщина спросила его, на чём он писал в лагере свои заметки и впечатления. Лев Эммануилович аж задохнулся от неожиданного вопроса, а женщина вдруг просила и сказала озарённо: «А, понимаю, – на туалетной бумаге». И тут Разгон захохотал от этой детской наивности.

Забавно, что такую же точно историю мне рассказал как-то Сай Фрумкин, уже в Америке. Этот прекрасный человек (мир его памяти) и в гетто побывал, и в двух немецких лагерях. Он выжил, слава Богу, а ещё совсем недавно часто выступал в американских школах, рассказывая о европейской Катастрофе. И одна какая-то школьница (темой в этот раз было Варшавское гетто, он говорил о голоде его обитателей) подняла руку и сочувственно спросила: «А почему они не позвонили и не заказали себе пиццу?»

Вы скажете мне, что это две истории про двух дур, но мне кажется, что дело обстоит гораздо хуже. Сегодня человек уже представить себе не может кошмар той дикой канувшей эпохи, потому и ставятся в России памятники Сталину, а множество вполне разумных людей блаженно жмурятся, вспоминая то время.

А ещё одну отменную и трогательную историю (совсем иную, чем те, что выше) рассказал мне врач одной израильской больницы.

У них лежала пожилая пациентка, находившаяся в полной отключке. А ей надо было измерить температуру, и по старинной медицинской методике градусник ей вставили в попку. Ощутив его, она вдруг очнулась и еле слышным шёпотом сказала: «Йехезкель, это ты?»

Чуть не забыл (глава-то всё равно несвязная): эту историю мне в Риге рассказала одна женщина.

В Большом зале синагоги городской когда-то был марксистско-ленинский лекторий, так что после всех ремонтов кое-где уцелели дряхлые серпы и молоты. И вдруг какой-то пожилой еврей заявил свою законную претензию: мол, почему в том месте, где всякие еврейские мероприятия случаются, остались эти памятники пакостной эпохи?

И женщину постигло вдохновение! Она сказала, что предметы эти – древние инструменты обрезания еврейских младенцев: серпом некогда отсекали крайнюю плоть. «А молот?» – недоверчиво спросил старик. «А это – для анестезии!» – находчиво сказала женщина. И старик успокоился.

Теперь как раз пришла пора недавней поделиться радостью: свой восемьдесят второй день рождения мой давний-давний друг Юлий Китаевич отмечал у нас в Израиле. И я ему стишок сочинил.

Умён. Слегка мудаковат.

*Красноречив, когда поддатый.
Всегда друзьям безмерно рад.
Американец. Жид пархатый.*

*Пусты напрасные слова,
что он шутить с годами бросил,
поскольку в восемьдесят два
смешнее всё, чем в двадцать восемь.*

*Весьма немолод обций друг,
однако член бывшего воинства,
сам вынимает он из брюк
своё усохшее достоинство.*

*Ему кричат со всех дворов:
«Зайди! Сейчас нальём под ужин!»
Короче, Юлий, будь здоров,
поскольку ты нам очень нужен.*

Страшная месть и нечаянная радость

Вот я и дожил до восьмидесяти лет. Раньше никогда бы не подумал. Множество людей весьма достойных уже закончили к этим годам свои счёты с жизнью, ну или судьба уже свела с ними счёты, а я всё жив пока. Но вот общаться стало почти не с кем. Да и раскидало нас по свету широко. А станешь вспоминать былые годы – совершенно ты другим стал человеком. От уплывшего времени всего два свойства у меня остались: оглушительно сморкаюсь и непременно днём немного сплю. Зато развилась лень неимоверная. Уж года два, как не могу писать очередной дневник. Нет, я не о стихах, они каким-то образом рождаются и всплывают сами. А впечатления от жизни пожилой вялотекущей – они ещё, по счастью, есть – никак не запишу. Ну, правда, кто-то из мыслителей заповедал нам, графоманам: если можешь не писать, то не пиши. А я ещё сыскал где-то мысль, что труд, не доставляющий удовольствия, – грех чистейший, очень меня это поддержало. Прозу ведь писать и в самом деле очень трудно. Хотя у меня она отнюдь не художественная, так – заметки вдоль по жизни. Но недавно приключилась у меня история, которую не записать я просто не могу. С неё, пожалуй, и начнём главу.

Ещё лет сорок тому назад (ну, чуть поменьше) предупреждал меня один чекист, что, если что, они меня достанут и в Израиле. А я тогда, дурак самонадеянный, всерьёз это не принял, даже рассмеялся. А прав-то был тот юный особист – ох, как был прав!

Но, впрочем, начинать с иного бока следует.

В городе Тверь жил много лет крупный чекист, он чуть ли не областное КГБ возглавлял. И был он в душе – художником, в силу чего всю жизнь малевал различные картинки. Форматом небольшие, но отменные. Конечно, он на публику их никогда не выставлял, то ли неудобно было при такой профессии и чине, то ли просто запаadlo. А как он умер, то его вдова картинки эти стала продавать, и три из них достались мне. Писал он маслом, и сюжеты были разные.

Так, на одной из них шёл коренастый пограничник (если легендарный Карацупа это был, то собака, что при нём была, – Индус). Её я подарил своему давнишнему приятелю, в сортире у него она висит.

А на второй – женщина идёт к огромной горе сена на возу. И к зрителю она спиной, но молодая. И лошади её смиренно ждут. Эта повисла в нашей спальне, очень уж была уютная.

На третьей – пляж nudistок. Человек пятнадцать голых баб в различных позах загорания и всего один мужик (и то – в трусиках). Эта картинка лучше всех прописана – видать, увлёкся автор. В коридоре до сих пор она у нас висит. Но дело всё случилось со второй (где молодая женщина спешит по полю к возу с сеном). Я что-то перевесил почему-то, и картинка эта оказалась возле нашей супружеской кровати – прямо у изголовья.

И меня стали кусать клопы! Именно меня причём, а не Тату, мою жену, у которой кожа и нежней, и тоньше, да и кровь моложе и свежей. Ну, Тата меня стала уверять, что это всё неравенство лишь потому, что она чаще моется, однако это было для меня неубедительно. Хотя идея, что вампиров привлекают запахи, заставила меня призадуматься. Недели три такая пытка длилась, и Тате взбрело в голову глянуть на оборот висевшей рядом картинки. Чуть она в обморок не упала. Между подрамником и холстом гуляли сотни кровососов! Часть из них были сухие и чёрные, но остальные!.. Явно это были спящие агенты (кажется, именно так именуются на языке разведки до поры до времени затаившиеся шпионы). А перевесил я картинку, и пришло их время. А в картинах, рядом висевших, всё было чисто и стерильно. И залил я тех клопов кипятком, а после концентратом уксусным, отнёс их лежбище бандитское в холодный чулан, однако и в соседней комнате они уже явились. Тут мы вызвали команду по уничтожению всякой мелкой нечисти. Но вот беда: ребята эти понятия не имели, как бороться именно с клопами (что ли, нету их в Израиле?), и потому пришлось вызывать их трижды, пока они не

разузнали, как это делается. Сколько стоили, кстати, такие вызовы, лучше не упоминать, но главное – что после всего разора происшедшего пришлось в двух комнатах делать ремонт. Об этом диком мероприятии лучше всех выразился какой-то французский король: «После меня – хоть ремонт», – сказал он, насколько я помню старые легенды.

Вот так жестоко был я наказан чекистами – за какое-то очередное интервью, как я понимаю. Где я в очередной раз сказал, что за сегодняшнюю Россию мне больно и стыдно. Так что поделом я был покаран.

А теперь опять немного о прекрасном. Во время последних гастролей по Украине я попал в совсем маленький провинциальный город со странным названием – Кропивницкий. Ещё вчера это был Кировоград. А ещё раньше... Жалко всё-таки Зиновьева: мало того, что расстреляли человека, так ещё и вычеркнули бедолагу из всех упоминаний. Среди бесчисленных картин на тему Ленина в Разливе есть одна примечательная (автора не знаю и не хочу). Там сидит Ильич на пне и пишет что-то актуальное, а сбоку от него – шалаш, и чуть подалее – большой стог сена. Так ведь этот стог и был раньше Зиновьевым, который, как известно, коротал с лысым смутьяном время бегства от суда. Но потом случилось с Зиновьевым то, что случилось, и сметливый художник превратил бывшего знаменитого большевика в стог сена. Это я к тому, что десять лет подряд это был город Зиновьевск. А ещё ранее – Елисаветград. Что касается сегодняшнего имени города, то Марк Лукич Кропивницкий вполне заслуживает этой чести: драматург, актёр и режиссёр, был он основателем украинского профессионального театра. Артистом был он, по отзывам современников, не просто выдающимся, но великим. И памятник ему – в полный рост – не зря стоит в городе его имени. Хотя население, надо сказать, возражало. Населению больше нравилось название Ингульск – по имени реки Ингул, тут протекавшей. Только кто когда прислушивался к голосу населения?

Всё это я выслушивал в машине по дороге из аэропорта в гостиницу. А потом пошло перечисление людей, родившихся здесь, и я задвигался, захохотал и завосхищался. Как же повезло этому городку, возникшему в восемнадцатом веке вокруг небольшой крепости, сооружённой тут, не помню, от чьего возможного нашествия! Отсюда родом Арсений Тарковский, Юрий Олеша, Генрих Нейгауз (великий пианист и множества талантливых людей учитель), изумительный художник Осьмёркин («Человек абсолютного живописного слуха» – скажет о нём его коллега, а эта братия не сильно склонна к похвалам). А отцу легендарной «Катюши» Георгию Лангемаку здесь даже поставлен памятник (в конце тридцатых этот гениальный инженер был, разумеется, расстрелян).

И тут прозвучало имя, от которого я вздрогнул, ибо уже давно мечтал я написать хоть что-нибудь о поэте с псевдонимом Дон-Аминадо. И предлог нашёлся: родина его, его пожизненно любимый город – этот захудалый Елисаветград. «Есть блаженное слово – провинция, есть чудесное слово – уезд. Столицами восторгаются, восхищаются, гордятся. Умиляет душу только провинция». Так начинается его прекрасная книга воспоминаний «Поезд на третьем пути». Как я взахлёб прочёл её когда-то! Но теперь позволю я себе длительное, издавна задуманное отступление.

Следует начать его, конечно, с маленького отрывка из письма к Дону-Аминадо непреклонной в своих вкусах Марины Цветаевой: «Мне совершенно необходимо Вам сказать, что Вы совершенно замечательный поэт».

Донельзя типичная биография (кто знает – пропустите, пожалуйста, эту страницу): кончил гимназию, поехал в Одессу учиться на юриста, после доучивался в Киеве, потом – Москва и полный отказ от полученного образования. Нет, он писать и печататься начал ещё в совсем юном возрасте, а в двадцать с небольшим уже как журналист присутствовал на похоронах Льва Толстого (это я к тому, чтобы не приводить дату рождения, ну их к лешему, эти точные

цифирки). Стихов – смешных и не очень – сочинил он невероятное количество, Сашу Чёрного порой напоминая (ну, пожиже чуть, не спорю), фельетонов много написал (тут он как Тэффи был или Аверченко), и на войну пошёл, там ранен был и комиссован. Революцию (точней, Октябрьский переворот) не принял сразу и уехал, когда полностью убедился, что более в России невозможно. Ни жить, ни дышать полной грудью. Так в двадцатом году он оказался в Париже. И начался его печальный расцвет.

А почему печальный, собственно? О, это объяснимо с лёгкостью. Потому что ностальгия – чувство страшное и вполне понятное. Тот миллион (как не поболее) уехавших в те годы, покидали Россию цветущую, свободную и безопасную для жизни человеческой. И хоть последние перед отъездом годы сумрачные были и тяжёлые, но предвоенную Россию помнили все.

Меня во многих интервью довольно часто осторожно спрашивали, нет ли у меня ностальгии. Да ни капли! Ну, друзья и близкие остались, да печаль о молодости, на выживание потраченной, при этом было столько низкого приспособленчества, что стыдно вспоминать. Но это не тоска по родине, так мучившая ту эмиграцию, да ещё вдобавок усугублённая иллюзией, что ужас в той оставшейся России – на короткий срок, такое продолжаться долго не может.

Спустя всего год после приезда Дон-Аминадо выпустил книжку стихов. Называлась она прекрасно и запоминающе: «Дым без отечества». На неё незамедлительно откликнулся не кто иной, как Бунин, никем и никогда не заподозренный в любви к коллегам-литераторам. Он написал: «...В его книжке, поминутно озаряемой умом, тонким юмором, талантом, – едкий и холодный «дым без отечества», дым нашего пепелища». Стоит упомянуть, что впоследствии они очень крепко подружились.

Дон-Аминадо немедленно прослыл всеобщим увеселителем. Ибо много лет чуть ли не ежедневно появлялись в газетах и журналах его стихи и фельетоны, шуточные смешные объявления, частушки (много сотен было им сочинено), и всё это – на злобу дня. Он сочувственно и иронично описывал эмигрантскую жизнь и незамедлительно откликался на всё, что происходило в России. Именно поэтому его читать сегодня менее интересно, даже не всегда понятно, а тогда это было – глотком свежего воздуха, улыбчивым и потому целительным взглядом на текущую жизнь.

Ни от каких самых мелких тем не отказывался этот сочинитель – «лёгкое перо», как именovali его критики (не без налёта осуждения, конечно). И лишь однажды отказался наотрез. Притом – от лестного и перспективного зазыва. Ему Шаляпин (а дружили они много лет) предложил – точнее, попросил его – написать либретто к опере «Алеко», по Пушкину. Музыку сочинил когда-то сам Рахманинов – это была первая его опера, написанная при окончании консерватории. Необычайной силы была музыка, как уверял Шаляпин. Он мечтал именно в этой опере сыграть свою последнюю роль – спеть Алеко в гриме под Пушкина. И резко отказался Дон-Аминадо. Он сказал, что слишком почитает Пушкина и что никак не может калечить пушкинский текст, приспособливая его под оперные арии. И никакие уговоры не помогли. А вскоре Шаляпин умер.

Но вот ещё что: Дон-Аминадо писал афоризмы (несколько тысяч этих острых и коротких мыслей он насочинял и напечатал). Это он, кстати, вполне банальную (но столь же остроумную) пустил по миру поговорку, что «лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным». Кто сказал первым (а ведь мы до сих пор при случае это говорим), что «Каин убил Авеля за старые анекдоты»? Мы восхищаемся сегодня Ежи Лецем и Борисом Крутиером, но и это ведь потому, что всё, сочинённое ими, – на злобу нашего сегодняшнего дня. Но, как у них, у Дона-Аминадо были мысли, сохранившие свой смысл до сих пор. Не верите? Тогда я приведу десятков, как не более, его вполне сегодняшних афоризмов.

Стрельба есть передача мыслей на расстоянии.

Живя в болоте, не рискуешь, что тебя захлестнёт волной.

Ничто так не мешает видеть, как точка зрения.

Утешайся тем, что международное положение ещё хуже.
Декольте – это только часть истины.
Живите так, чтобы другим стало скучно, когда вы умрёте.
Скажи мне, с кем ты раззнакомился, и я скажу, кто ты таков.
На свете очень много хороших людей, но все они страшно заняты.
Терпение и труд хоть кого перетрут.
Люби человечество, но не требуй взаимности.
Лучше остаться человеком, чем выйти в люди.
Не старайтесь познать самого себя, а то вам противно станет.

Аминадав Петрович Шполянский (на самом деле его отца звали Пейсах) написал, как я уже говорил, великое множество стихов, исполненных иронии и горечи. Стихов не приведёшь, но фраза из письма Цветаевой сполна объяснит: «Вся Ваша поэзия – это самосуд эмиграции над самой собой».

Этот всеобщий увеселитель много понимал о людях. Он пережил оккупацию, всё знал уже о лагерях уничтожения евреев, и в сорок пятом году написал в одном писем слова, точнейшие по горечи и боли за человечество: «Поразило меня только одно: равнодушие... Вообще говоря, все хотят забыть о сожжённых».

Он сочинял с непостижимой скоростью. И остроумием он обладал – неисчерпаемым. Но время засушило большинство его произведений. Очень жалко. Мне когда-то он весьма помог существовать.

Вернусь теперь я в город Елисаветград. Здесь стоит памятник ангелу-хранителю Украины. Здесь в каждом апреле расцветает в Дендропарке сто тысяч тюльпанов. Здесь бывали Мицкевич, Кутузов и Суворов. Здесь сидел в тюрьме Котовский (пятнадцать лет был этот человек бандитом-налётчиком, а после ещё семь – знаменитым полководцем в Красной Армии). А выступать мне довелось – в первом на Украине театре, том самом, который так обожал юный Дон-Аминадо. А ещё здесь был первый в России погром. За время Гражданской войны через город этот прошли все до единой банды, что гуляли некогда по Украине. И евреи города (а их была почти что треть населения) – зарезаны были или расстреляны. А потом опять понаехали. Удивительна эта наша национальная страсть упрямо вновь селиться в местах, где нас убивали. А водку мы после концерта пили в буфете этого театра с такими дивными людьми, что я ещё раз вспомнил слова Дона-Аминадо о великой теплоте провинциальной жизни.

И ещё одна некрупная печаль случилась у меня за это время. Я не раз ведь и в стихах, и в прозе тихо сетовал, что никогда не получал какую-нибудь премию достойную. И вдруг мне это счастье улыбнулось: меня на праздник Хануку позвал во дворец кремлёвский совет еврейских общин (с большой, наверно, буквы следует его писать, но я в этом не очень-то уверен). И не просто пригласили бедного провинциального иностранца, а чтобы премию вручить по номинации «Человек-легенда». А к той премии, по слухам, даже денежку какую-то давали. Красота!

Но тут я отказался. Мне давно казалось, что евреи не должны свои высокие праздники отмечать на кремлёвском подворье, как-то мне это виделось наглостью и даже неким святотатством. Что евреям это некогда припомнят и предъявят, я ничуть не сомневался. Да ещё пришлось бы всяким падлам руку пожимать, а их у нас, как и у всякого народа, – полный ассортимент. Ну, словом, отказался. Мягко и с благодарностью. А премии мне жалко до сих пор.

Сага о нищем миллионере

Я почему-то чувствовал, что этот полюбившийся мне город (Елисаветград – Зиновьевск – Кировоград – Кропивницкий) подарит мне какой-нибудь сюжет или историю. И не ошибся. Во второй мой приезд туда – спустя полтора года – мне принесли книжку (надписанную автором) с названием вполне простым: «Коллекционер Ильин. Двадцать лет спустя», и я с головой окунулся в жизнь загадочного, но вполне понятного мне человека. Десятки газет писали о нём когда-то, отголоски той шумихи сохранились в Интернете, даже фильм о нём был снят с тремя или четырьмя актёрами, игравшими Ильина в разные годы его жизни, главным было во всём – удивление перед размахом интересов этого неприметного человека.

Тридцать лет ходил по улицам города рядовой электрик треста ресторанов и столовых (позже – пенсионер) Александр Борисович Ильин. В сильно ношенной рабочей спецовке (или в неказистом пиджаке, надетом на футболку), стёршихся кирзовых ботинках и мятых брюках – он полностью соответствовал своей профессии и той нищенской рабочей зарплате, которую получал. Многие в городе знали его как любителя старинных книг и вообще всякой старины, переплётчика и реставратора икон. Впрочем, о его последнем ремесле знали только священнослужители разных приходов, привозившие ему иконы для приведения их в божеский вид. Тем более что денег он за реставрацию не брал, расплачивались с ним книгами и другими иконами.

Всё собранное им никто никогда не видел, в дом к себе он никого не впускал. Были несколько человек, вхожие за порог, однако не дальше кухни. С остальными он беседовал в саду под грушей, отчего и делились приходившие на «запорожцев» и «подгрушников». Никто, впрочем, и не порывался войти дальше, репутация нелюдимого чудака прочно закрепилась за Ильиным. В доме жили вместе с ним племянник и племянница, она-то и готовила немудрёную еду. К еде Ильин был абсолютно равнодушен, часто ел в столовых треста, где работал, – как там ели, с лёгкостью представят себе те, кто жил в это окаянное время. Ни жены, ни детей у него не было, женщин он к себе не приводил, не пил совсем (единственная необычность) и не курил. Словом, личностью был серой и неприметной. Это уже впоследствии коллеги по собирательству вспоминали, что был он невероятно эрудирован и начитан, а в вопросах книгоиздательства всех времён – глубочайшим образом осведомлён.

Всё началось после его смерти от инфаркта в девяносто третьем году. В последний путь провожали его племянники и несколько соседей, а неказистый крест из водопроводных труб поставил на могиле сердобольный смотритель кладбища. Даже поминок не было, зарыли усопшего, и память о его убогой жизни быстро бы и навсегда истёрлась.

Но спустя месяца два после его смерти в городском книжном магазине появилась некая редкая книга с его пометками – он когда-то позволил библиотеке снять с неё ксерокопию, потому-то её и узнал знакомый ему коллекционер. И этот его коллега тут же, движимый невнятным патриотизмом, написал куда-то очень наверх, что ценная, возможно, для государства коллекция может постепенно раствориться безо всякой пользы для державы. Сверху поступила рекомендация, она быстро обросла юридическим обоснованием (абсолютно, кстати, незаконным), и в дом покойного собирателя вломилось целое воинство судебных исполнителей и взятых с собой экспертов.

И обомлели эти люди. Дом Ильина был снизу доверху забит книгами, иконами и прочими предметами старины. Точно так же был забит разными ценностями чердак и подвал. Главным содержанием коллекции были, безусловно, книги. В некоторых газетах сообщалось потом о нескольких десятках тысяч томов, но городской библиотеке досталось только семь тысяч. Но какие это были книги! Например, Острожская Библия – первое издание Библии на церковнославянском языке (XVI век) из типографии Ивана Фёдорова. Там вообще было полное собрание книг этого первопечатника (многие из них считались безвозвратно утерян-

ными). Рукописное Евангелие XIV века. Переписка Екатерины с Вольтером. «Византийские эмали» – эта редкостная книга была некогда издана тиражом всего двести экземпляров, и стоимость её на книжном рынке – два миллиона долларов. Это единственная цена, которую я назову, ибо подлинная стоимость многих книг просто не установлена. Там была уникальная книга «Великокняжеская, царская и императорская охота на Руси» с рисунками Репина, Сурикова, Васнецова, Бенуа и нескольких других (прошу прощения, если кого-то из художников не упомянул или сгоряча назвал излишнюю фамилию – сам я этой книги отродясь не видывал – ну разве в Интернете). Перечислять можно до бесконечности, но ещё там обнаружили рукописи Гоголя и Пушкина, список грибоедовского «Горя от ума» (образец когдатопного самиздата) и среди большого количества картин – портрет Екатерины работы знаменитого художника Дмитрия Левицкого (считался утерянным). Этот портрет, кстати, – некая историческая загадка: царица одета в мундир гетмана Запорожской Сечи, хотя именно она положила конец её существованию.

А ещё – невообразимое количество икон, среди которых – множество в серебряных окладах и с многоцветной эмалью. Многие из них покрыты были пылью, плесенью, испорчены грибом – до них не доходили руки их владельца-реставратора. И то же самое – с книгами: в ящиках на чердаке уже возились мокрицы. В доме был сундук, набитый наиболее любимыми Ильиным книгами – он и сидел на нём, однако же и там уже густо цвела плесень. В этом немыслимом количестве старины были микроскопы разного времени, граммофоны, монеты разных стран и веков, телескопы и ордена в большом ассортименте, бронзовые и чугунные статуэтки, вазы из фарфора и хрусталя. Впечатление было, что собирал он всё подряд, на чём лежал хотя бы слабый отпечаток канувшего времени.

А ещё обнаружилось двести килограмм серебра. Но не серебряного лома, не монет серебряных, а произведения знаменитых мастеров давнишнего времени – Хлебникова, Фаберже и других. Корм для домашних кур в этом доме размешивали ложкой Фаберже.

Всё это грузили в мешки и выносили, чтобы вывезти. Набралось около пятнадцати или двадцати грузовиков. Словом, это было чистой воды ограбление, устроенное государством. А в основе его лежало – отсутствие форменного завещания. Слабых возражений племянницы, что ещё не прошло положенных шести месяцев, никто не слушал. Когда она позднее обратилась к адвокатам, ни один из них не осмелился выступить против воли всемогущего государства.

Всего было изъято четыре тысячи предметов и несчётное количество икон и книг.

Что же за личностью был этот владелец самой большой в России (а то и в целой Европе) частной коллекции? Это выяснилось постепенно и далеко не полностью.

Многое стало ясно из туманной биографии этого человека, одержимого страстью. Родился он в двадцатом году, а начало коллекции положила его мать, женщина явно незаурядная. Была она старинного дворянского рода Римских-Корсаковых (нет, никакого отношения к композитору), знала три европейских языка, много читала, получила отменное образование и сумела что-то из семейного наследия сохранить в те годы повсеместного изъятия. Эх, знала бы она, что именно изъятие постигнет спустя десятки лет её удачно утаённые от грабежа любимые вещи! (Книг на французском и других языках было довольно много в собрании Ильина, а сам он, по всей видимости, ни одного не знал.) Она вышла замуж за пролетария, очень способного человека (дорос он до директора большого завода), тоже не чуждого собирательству. Так что их сын с раннего детства окунулся в атмосферу любви к уходящему предметному миру, а в частности – обучился переплётному мастерству. На фронт он не попал (незнамо как обрётённый белый билет), поступил в торфяной институт, бросил его после первого же курса, выучился на электрика, а дальше – четырнадцать лет пропуска в трудовой книжке. Известно, что какое-то время он жил в Киево-Печерской лавре, сохранились его снимки в монашеском одеянии, но занимался он переплётном книг и реставрацией икон. И достиг в этом больших успехов. Настолько больших, что ему был доверен ключ от библиотеки лавры, и когда в шесть-

десять первом году её закрыли (это Хрущёв боролся с религией) и приехал Ильин к родителям в Кировоград, следом за ним прибыли два больших контейнера книг и церковной утвари. Нет, я ничуть его не осуждаю: нет на свете коллекционеров без чёрных пятен в их собирательской практике. Так и появился в городском тресте ресторанов и столовых новый электрик.

Это уже был человек единой всепоглощающей страсти – мании собирательства. Такой характер издавна описан специалистами в нашей закоулистой и непрозрачной психологии.

Академик Павлов полагал, что собирательство – «...это есть тёмное, нервное, неодолимое влечение, инстинкт...». А многие философы, психологи и психиатры пытались добраться до корней и истоков этой загадочной мании, присущей чуть ли не трети человечества. Теорий было множество, но малоубедительны они все. Ибо собирательство простирается от вкладывания денег до безумной страсти к накопительству совершеннейшей чепухи.

Ильин был собиратель породы редкостной: его привлекал запах старины – отсюда и поразительное разнообразие его коллекции. И ещё скрытность резко отделяла его от великого множества собирателей, склонных свою коллекцию выставлять на общее обозрение и хвастаться ей. Он был великим и необычным коллекционером. Мир праху этого загадочного человека! Огромный камень дикой породы поставили на его могиле городские энтузиасты. А на камне этом – замечательные чьи-то слова: «Книги и вещи на расстоянии дыхания дарили ему радость быть, а не только иметь».

А под каштанами – пещеры

Прямо накануне отлёта вдруг вспомнил я, что уже давно знаю одного гражданина той страны, куда мы собрались в лечебных целях. В Иерусалиме был какой-то вечер, на котором выступал Любимов. После завязалась лёгкая пьянка, я подошёл к нему со своим стаканом и сказал слова, которые он встретил весьма приветливо. «Юрий Петрович, – нагло попросил я, – позвольте с вами чокнуться. Вам это хуйня, а мне – мемуары». Потом я в качестве шофёра привозил к нему Зиновия Гердта и вдоволь понаслаждался неспешной беседой двух этих замечательных людей.

Потом ещё (совсем недавно) мы с ним встретились в доме наших общих друзей – ну, словом, с этого я начал не затем, чтоб ненароком похвалиться, а к тому, что мы летели в Венгрию. У жены моей неладно с лёгкими, а там под Будапештом объявилась (мы об этом слышали впервые) некая подземная пещера, для таких больных целительная. Постоянная в ней температура – 14 градусов (по счастью, плюс 14), а влажность – 98 процентов. Если посидеть в ней каждый день по три часа, то будет изумительный эффект – мы это всё прочли в рекламе и польстились.

По своему глобальному невежеству я ничего почти о Венгрии не знал. Поэтому все первые дни сидел в гостинице (на острове посреди Дуная) и читал усердно книжки, мне заботливо принесённые местными друзьями. Оказалось, что и раньше что-то я слышал или прочёл, только теперь это совсем иначе звучало – и гораздо убедительней. И было увлекательно узнать – а впрочем, я немедленно этим поделюсь. Прости меня, читатель, если это всё давно тебе известно.

Венгры появились в Европе в IX веке, прибредя огромным племенем из Зауралья и Сибири. Их ближайшие сородичи (по языку) – это ханты и манси, удмурты и мордвины. О причине, побудившей необозримое скопище людей уйти в неведомые дали, учёные спорят, а меж тем языковое угро-финское единство учиняет фестивали, конкурсы и всякое общение между такими нынче разными народами. Я вдруг себе представил очень ясно, как какой-нибудь певец из Удмуртии, повидав жизнь венгров, молча проклинает своих древних предков за нерешительность в те годы общего исхода. Я как раз недавно в Салехарде наблюдал и хантов, и манси, а теперь вот оказался среди их, по сути, родственников. А разницу легко себе представить. Летописи, кстати, подтверждают это великое переселение, ибо по дороге, длившейся годами, всякие случались мелкие войны, столкновения и дружелюбные союзы.

А про венгров нашей современности узнал я нечто вовсе новое – признаться, поразившее меня. Ко времени угасания Первой мировой войны в России оказалось чуть не полмиллиона военнопленных венгров. Сведущие люди объяснили мне, что венгров гнали на фронт при очевидной нехватке оружия для них, еды, одежды и транспорта – отсюда и такое количество сдававшихся в плен. И именно они сделали крепчайшей опорой молодой советской власти. Даже в штурме Зимнего участвовали венгры. Дух миражей, навеянный революцией, глубоко проник в их души. Когда в апреле 18-го года только что образовалась Красная Армия, в ней было всего двести тысяч человек, венгров было в ней – уже 85 тысяч. В сорока крупнейших городах России возникали воинские формирования венгров, вставших за революцию. И отнюдь не только латышские стрелки охраняли Кремль, работали в ЧК, подавляли восстание эсеров, воевали всю Гражданскую войну – венгров среди тех, кто насаждал советскую власть, было несравненно больше. Это безумно радовало Ленина, всю Россию почитавшего за спичку, которая разожжёт всемирный пожар. Воины-интернационалисты (так их называли в то время) были очевидным признаком сбываемости этой жуткой утопии. А для коренных россиян они все были на одно лицо – отсюда, очевидно, и тот миф о повсюдных латышах, что засел когда-то

напрочь в заскорузлом моём сознании – да и не только, впрочем, моём. А всего их в Красной Армии было более ста тысяч, даже в дивизии Чапаева воевало множество венгров.

И только тут я услышал впервые, что в нашем лагере (мира, социализма и труда) Венгрия была «самым весёлым баракком». Отсюда и восстание лагерное подняли они первыми. В 56-м году. В крови утопленное, замолчанное миром восстание. И я рад был узнать, что его подняли студенты. И сперва ведь к этому прислушались в Кремле и вывели часть советских войск, но всё не прекращались наглые демонстрации и митинги, и на маленькую Венгрию обрушилось целое войско – несколько десятков тысяч солдат и шесть тысяч танков. Это здесь был впервые опробован автомат Калашникова. Восставшие венгры вполне в духе времени требовали, в сущности, немногого – социализма с человеческим лицом. Только чтоб лицо это было не русским и не еврейским. Советские солдаты, между прочим, были искренне убеждены, что борются они с поднявшим голову фашизмом. А венгры до сих пор помнят с гордостью и отмечают этот яростный порыв к свободе.

Ну, а нас с женой из Будапешта повезли в город Тапольцы, где были вожделенные целебные пещеры. Километров двести мы проехали по густо-зелёной Венгрии (для моего израильского взгляда это было чудом), по дороге, огибая озеро Балатон, налюбовались дивными курортными городками, даже рюмку местной водки палинки я выпил на одной из остановок. А потом был небольшой провинциальный город, окружённый невысокими горами, и гостиница, стоявшая на подземных пещерах. В них надо было сидеть по три часа в день.

Изумительно красивой оказалась эта сеть огромных пещер. Тысячелетия назад здесь протекал могучий поток, оставивший после себя дно из мелкого галечника и невероятно театральные своды сегодняшних пещер, бывшего своего русла. Бесчисленные вымоины, впадины самых прихотливых очертаний, даже небольшие пещерки – память о растворявшихся породах. И повсюду – узкие удобные кровати для больных (астмой, бронхитом – список весьма велик). По три часа надо сидеть-лежать в чистом подземном воздухе. Большинство пациентов мирно спит в этом уютном подземелье, повадился там спать и я. А так как я во сне храплю неистово, то вскоре после моего засыпания обитатели нашей пещеры тихо перебирались в соседние. Так, во всяком случае, объясняла мне жена опустелость нашего обиталища.

А ещё возле гостиницы был отменный парк из неизвестных мне деревьев. Нет, каштаны я различал по висящим на них плодам, и сосну от ели я отличаю почти сразу, но тамошние узнавал не все. Забавно, что всего метров через двести-триста от наших целебных подземелий находилась ещё одна сеть пещер, и там текла река, где-то впадавшая в городское озеро. Она описывала под землёй некий круг, и по нему можно было прокатиться на лодке. Я, конечно же, туда повлёкся. Лодка оказалась аккуратно склёпанным цинковым корытом, к ней вручили мне весло. Я сперва огорчился было видом этой лодки, но быстро понял, что деревянная мгновенно истрепалась бы в щепки, плывя по узкому каналу и непрерывно ударяясь о каменные стены. А когда я с трудом (и восторгом) совершил этот плавательный круг, на берегу меня ожидало приятное происшествие. На пристани стояла очередь желающих прокатиться, и была то – русская группа туристов. Меня узнали, тут же завязалась фотосессия, и первая из окликнувших меня с гордым пафосом произнесла подругам: «Я знала, что сегодня случится что-то необыкновенное!» Так что семьдесят ступенек вверх я поднимался очень окрылённо.

Потом мы вернулись в Будапешт. Я не слишком тяготел к архитектурным красотам города, мне хотелось выкурить сигарету всего в трёх местах, и нас с женой свозили туда.

Прежде всего я хотел постоять у дома (хотя дома уже нет), где родился Теодор Герцль. Эта безусловно историческая личность вызывала у меня очень странные чувства. До тридцати четырёх лет – процветающий и остроумный журналист с высшим юридическим образованием, автор нескольких успешливых пьес, убеждённый сторонник ассимиляции евреев и растворения их в народах, среди которых они живут. Потом была идея поголовного их перехода в хри-

стианство и запись (кажется, в дневнике), что «идеи в душе моей крались одна за другой». Ещё одна цитата о нём: «В то время, как говорили, будущий вождь сионизма был пижоном, денди с бульвара, обожал слушать оперы Рихарда Вагнера, модно одеваться, сплетничать в кафе и фланировать по проспекту».

Но в 1894 году, будучи в Париже корреспондентом какой-то газеты, он стал свидетелем дела Дрейфуса. Даже присутствовал на гражданской казни этого облыжно обвинённого офицера-еврея: с него публично сорвали знаки отличия и сломали его шпагу. Герцль ничего ещё не знал о невиновности Дрейфуса и поразило его другое: толпа народа, кричавшего «Бей евреев!». Вот тут и ощутил он ту жёсткую убеждённость, за которую впоследствии его прозвали «сумасшедшим мечтателем». Спустя всего года полтора появилась его знаменитая книжка – «Еврейское государство», сразу же переведенная на несколько языков.

А вот история, рассказанная самим Герцлем: он читал эту нетолстую утопию своему близкому другу – тот вдруг заплакал и убежал. А после объяснился: «Он подумал, что я сошёл с ума, и, как друг, был сильно огорчён моим несчастьем». С той поры вчерашний журналист и драматург отдался без оглядки идее создания еврейского государства. Он был готов основать его где угодно – на Кипре, в Африке, совсем не обязательно в Палестине. Помешали соратники (их возникло множество). Он принялся убеждать банкиров, он виделся с турецким султаном и немецким кайзером, с министрами Англии и России. Он проявлял вулканическую энергию и чрезвычайное личное обаяние. Ему сочувственно кивали и отвечали уклончиво. Он собрал в Базеле первый Сионистский конгресс (поставив, кстати, непременно условием, чтобы все явились во фраках). После чего записал в дневнике: «В Базеле я создал еврейское государство». А как его во всём мире поносили равнины разных уровней известности! Ведь всё, что он пытался сделать, было прерогативой Мессии – уж не возомнил ли он таковым себя, земного выскочку?

Зачем я это всё пишу, я объясню немедленно. Сверхценная идея и маниакальная одержимость ею – немедленно вызывают у психологов (и психиатров) настороженное внимание. Таким, очевидно, и казался Теодор Герцль тем сановным и влиятельным лицам, у которых он просил понимания и поддержки. Справедливо отчасти: в то время это выглядело как беспочвенный бред. И мне кажется, что случай Теодора Герцля – это действительно явление высокой и благородной свихнутости сознания. А бранить и осуждать меня можно сколько угодно, только именно от восхищения этим замечательным душевным расстройством я и хотел постоять у дома Герцля. Тем более что его маниакальная мечта впоследствии блистательно сбылась.

Тут я невольно вспомнил одну дивную байку (легендарную, скорей всего) про Бен-Гуриона. Ему принесли на утверждение какой-то грандиозный проект, на который уже и деньги нашлись, и был большой список очень известных участников. Но он отказался подписать этот проект. Его спросили удивлённо – почему? В этом списке нет ни одного сумасшедшего, якобы ответил он, а значит – ничего не получится.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.